

А. Луначарский.

ЛЕНИН И ПЛЕХАНОВ.

Еще до того, как я познакомился с Георгием Валентиновичем, Павел Борисович Аксельрод в Цюрихе, расхваливая мне статью Владимира Ильича, появившуюся в одном издании в Петербурге сборнике (конфискованном, между прочим, под псевдонимом Тулина, сказал мне: „И Жорж очень доволен статьей. Он прямо говорит, что это замечательная вещь и что автор ее, несомненно, недоюжный человек, который при „благоприятных условиях сыграет в русском рабочем движении немалую роль“.

Мне не пришлось в дальнейшем следить сколько-нибудь пристально за развитием взаимных отношений Плеханова и Ленина. Как раз с того времени, как Владимир Ильич, Мартов и Потресов поселились за границей,—я был уже в России. Но всем известно, в какой мере ценили друг друга вождь старой группы первооснователей русской социал-демократии „Освобождение Труда“ и великий вождь мировой революции в будущем—Ленин.

Когда позднее ко времени второго съезда партии Владимир Ильич пришел к выводу, что необходимо освободить центральную редакцию от Аксельрода и Засулич, которых он уважал, но наличие которых в редакции казалось ему излишним балластом и даже некоторой опасностью ввиду склонности этих людей к оппортунистическим уклонам,—он отнюдь не распространял этого суждения на Плеханова. Наоборот, он делал все, от него зависящее, чтобы удержать Плеханова в редакции, удержать его, так сказать, у кормила правления партийным кораблем рядом с собой и теми политическими фигурами, которые, по мнению Ленина, должны были составить главный штаб партии.

И Плеханов, необычайно высоко ценивший Ленина, пережил, повидимому, довольно мучительные колебания в период времени, непосредственно следовавший за вторым съездом. Одно время казалось, что оба крупнейших вождя русской социал-демократии сойдутся, помирятся, наладят совместную работу. Но в конце-концов старые связи, боязнь остаться в новой среде, так сказать, в плену,—все это привело Плеханова к длительному и болезненному разрыву с Лениным, при котором он как раз и оказался в плену, но только у меньшевиков. Правду сказать, сам Георгий Валентинович в период своего меньшевизма зашел довольно далеко вправо. Некоторые его политические позиции в 1905 году непосредственно после поражения революции заслужили со стороны Ленина сильнейшее осуждение. Все помнят, с каким возмущением повторял Ленин фразу, брошенную Плехановым после поражения декабрьского восстания в Москве: „Нечего было и братья за оружие“.

И однако, когда меньшевизм правым своим флангом при попустительстве левого докатился до знаменитого ликвидаторства, до того классического ликвидаторства, которое, поплеывая на подпольную партию, объявляло наступление новой эры, эры легальности в рамках дозволенного Столыпиным,—Плеханов возмутился, рванулся из сетей ликвидаторства и произошло новое, к сожалению, недолговременное соединение Ленина и Плеханова, ленинцев и плехановцев, разумея под этими словами непосредственно примыкавшие к ним группы более или менее крупных социал-демократов.

Безусловный и безнадежный отход Плеханова от линии революционного социализма обозначился в самом начале империалистической войны. Плеханов ориентировался социал-патриотически с оттенком не столько русского, сколько французского патриотизма и с тех пор уже, можно сказать, не приходил в себя. Сказавши социал-патриотическое „а“, он сказал и „б“ и „в“, он шел все более направо, до какого-то социал-

патриот-либерализма, так что в его политической физиономии последнего времени, в группе „Единства“, которую он возглавлял, нельзя было узнать прежнего революционного лица первоучителя русского марксизма.

В течение всего этого длинного периода времени пути Ленина и Плеханова очень часто перекрашивались. Как видно из предыдущего, бывали моменты относительного замирения (я помню, например, очень товарищеские отношения обоих вождей на копенгагенском съезде), бывали моменты большого полемического ожесточения. Не помню я только такого момента, в который Ленин отрицал бы огромное дарование и огромные

заслуги Плеханова. По отношению к дарованиям Плеханова у Ленина был изумительный пиетет. Ленин вообще, как известно, отличался большой скромностью по отношению ко всякой самооценке, и из тех редких бесед, которые мне приводилось вести с Лениным в эпоху моей работы под его руководством в Женеве, я выносил именно такое впечатление, что, осуждая политические заблуждения Плеханова (его отход от большевизма), Ленин, тем не менее, продолжает считать его самым замечательным социалистическим умом нашей страны и самым желанным идейным руководителем рабочего класса в случае, разумеется, если бы он вернулся на правильную стезю. Ленин любил употреблять в отношении Плеханова совсем особые выражения: он говорил о „физической силе его ума“. Вероятно, Владимир Ильич руководился при этом образом физической борьбы. Физическую силу, по его мнению, проявлял Плеханов в могуществе своей аргументации, в непобедимости ударов, которые он наносил противнику, в чрезвычайной трудности противостоять его доводам, его влиянию. Но, может быть, Владимир Ильич имел здесь в виду и широту охвата ума Плеханова, и ясность изложения, которой он отличался, и огромную неутраченную трудоспособность.

Те, которым доводилось видеть живого Плеханова, конечно, сохранили представление о доминирующей, на мой взгляд, черте его наружности, или вернее, его головы. Над красивым, несколько барским, нижним этажом, высилось самое замечательное в наружности Плеханова: глаза и лоб. Глаза у Плеханова были необычайно красивы прежде всего. Большие, темные, выразительные, они сверкали каким-то необыкновенным огнем. Я редко когда после того видел такие светящиеся глаза. Нечто подобное, но в меньшей степени я заметил у Максима Максимовича Ковалевского, социолога, человека, также необыкновенного остроумия, необыкновенной сообразительности, необыкновенной умственной живости. Эти умные, пристальные, исполненные интенсивной жизненности глаза смот-

редли из-под двух косматых черных кустов бровей, также очень подвижных. Эти брови придавали Плеханову выражение некоторой суровости, как-то не допускали близости с ним. Казалось, что он всегда несколько насуплен, что он смотрит на вас немножко издали, несколько сверху, из-за какой-то завесы, сохраняющей расстояние. А над бровями возвышался мраморный лоб, высокий, широкий, чистый, необыкновенно красивой формы. Впечатление изящества и могущества—и притом именно духовного, в лучшем смысле этого слова, т.е. относящегося к области интеллекта—вот что исходило от Плеханова. В громадном большинстве случаев Плеханов был холодно сдержан. Я, конечно, не так часто его видел и не так много с ним общался, чтобы произносить общие суждения, но я ни разу не помню Плеханова тронувшимся, расчувствовавшимся. Когда он сердился, он стремился еще более замкнуться и приобретал ледяной тон. Очень часто он иронизировал. Иронизировать он



Г. Плеханов. (Портрет 900-х годов).

любил, не улыбаясь. Лицо становилось холоднее обычного, в глазах также появлялся лед и совершенно равнодушным тоном Плеханов откалывал какую-нибудь ядовитую шутку, от которой противник, можно сказать, падал навзничь.

Таким образом, интеллектуализм и что-то такое, что больше всего отвечает выражению—физическая сила ума—действительно было присуще всему облику Плеханова. Все, кто усиленно читали и изучали Плеханова, соглашались, что и произведениям его, этому второму я, второй личности Плеханова присущи те же черты. Ленин в этом смысле был совсем другой человек. Какая-то газета, описывая речь Плеханова в Штутгарте, назвала ее „aristokratische Erscheinung“. Плохо переводимое выражение, которое, однако, обозначает барскую наружность. Плеханов всегда наблюдал за собой, был очень изыдно одет, очень выдержанно вел себя по отношению ко всем окружающим, имел до инстинкта усвоенные „хорошие манеры“, к которым прибавлялось еще какое-то величавое кокетство, именно этим своим аристократизмом. Когда Плеханов говорил, в любой беседе он слушал самого себя и понимал, что его слушают. Он всегда немощно исполнял роль Плеханова, заранее уверенный в реальных или предполагаемых аплодисментах.

Владимир Ильич был, как всем известно, сама простота. Он никогда за собой не наблюдал, никогда себя не слушал. Он был в этом отношении абсолютно стихийен, он был сам собой и забывал вместе с тем сам себя. Он всегда весь расплывался в стихии того дела, которое делал, в стихии тех мыслей, которые развивал. Плеханов был крупная личность и вместе с тем крупный индивидуалист. Ленин был огромная личность, но совсем не индивидуалист. Ленин, не то, что создал свое превосходство над другими, он просто не мог его не констатировать, это же был факт, но он никогда не давал его почувствовать, помимо тех случаев, когда он должен был распоряжаться, приказывать, что требовалось самим делом. Но превосходство Ленина часто выражалось в лукавой усмешке, в иронии, в вышучивании. Но какая разница с таким же вышучиванием Плеханова. Тот обдавал свою жертву душом из ледяной воды, отбрасывал ее на несколько саженей от себя и в своей шутке, так сказать, выпрямлялся, чтобы показать „пафос расстояния“ между собой и объектом своей насмешки. А Ленин своей лукавой улыбкой, которая ползла множеством морщин вокруг хитрых и вдруг становившихся необычайно добрыми глаз, обдавал вас теплом, приближал вас к себе, как бы вдруг признаваясь в том, что мы ведь друзья-приятели. В его подшучивании было какое-то дружеское похлопывание по плечу, какая-то несомненная и бесконечно милая ласка.

Взять Плеханова и Ленина как ораторов. Плеханов был чудесный оратор, но я помню, когда на стокгольмском съезде собралось многое множество „истинно-русских“ социал-демократов, приехали люди с Кавказа и Урала, из Сибири и Украины, множество провинциалов, множество пролетариев, и первая речь Плеханова произвела на них совершенно неожиданное впечатление. Она им не понравилась, она их оттолкнула, и не содержанием своим. Содержание также не могло быть симпатичным большевистской части съезда, ибо дело сводилось к той знаменитой критике позиции Ленина по отношению к крестьянству, в которой Плеханов намекал на возвращение Ленина к эсерству, патетически восклицая: „В новизне твоей мне старина слышится“. Но нет, не о содержании говорили с известной антипатией наши тяжеловатые уральцы и прямодушные грузины. Их поразила актерская манера Плеханова. Плеханов говорил глубочайшим образом во французской манере. Конечно, он говорил сдержаннее, чем подлиннее французы. На Штутгартском съезде Плеханов сидел рядом со мной во время речи Вандервейде—он внимательно слушал его и потом, обращаясь ко мне, сказал с усмешкой в глазах: „Разве из Вандервейде не вышел бы отличный протофьякон?“. И вскоре после этого, слушая речь Бебеля, Плеханов опять бросил такое замечание: „Посмотрите внимательно, ведь у этого человека даже голова Демосфена“. Оба замечания свидетельствуют о превосходном вкусе Плеханова и он, конечно, не допустил бы такой „Французской комедии“, какую, например, дает в своих выступлениях один из лучших политических ораторов современной Франции—Поль Бонкур. Но, тем не менее, этот выдержанный голос, эти кадансы, эти рудалды, этот умеренный, но округлый жест, эти обдуманно построенные периоды, эти эффекты, которые приберегаются к концу, эти маленькие паузы, прежде чем выстрелить особенно меткой стрелой—все это на наши русские уши произвело впечатление чего-то до крайности деланного, рассчитанного, эффектичающего.

Так это и было. Всегда Плеханов говорил так. И кое-что от этого ораторского искусства, от этих великолепных манер, от этого любования собой и красования перед другими сохраняется и в литературном стиле Плеханова.

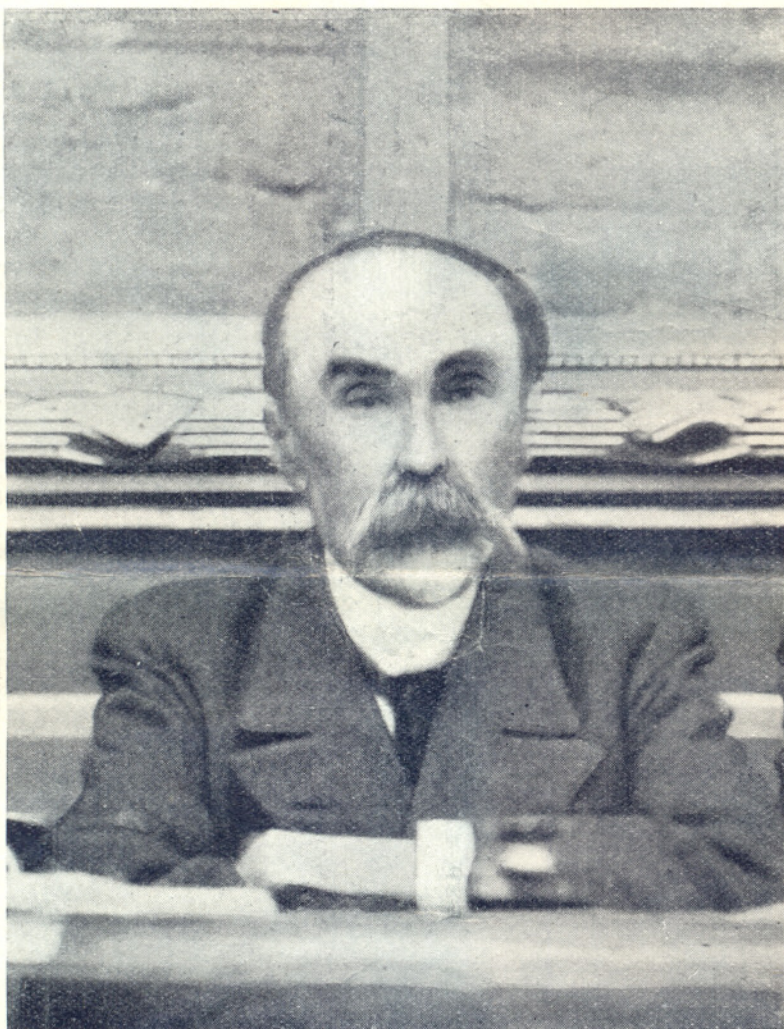
А Ленин?—разве можно вспомнить без наслаждения и без какой-то дрожи, которая проходит по вашему телу, о Ленине, как ораторе? Разве у Ленина было какое-нибудь искусство оратора? Разве Ленин думал о каких-нибудь ораторских эффектах? Да ничего подобного. Смешно даже это предположить. Ленин вбегал на кафедру со своими бумагами, весь уже охваченный содержанием своего доклада, своим вмешательством, своей директивой. И тут он забывал себя. Дела ему не было до своей персоны. Он сейчас же уходил в свою речь, не в звук ее, а в мысль. Он весь целиком сживался с аудиторией, он становился частью мозга каждого из слушателей. Он старался об одном: определить течение мыслей своих слушателей, дать определенное направление их воле. В особенно сильных местах глаза Ильича становились похожими на два черных отверстия, они уходили куда-то вглубь, они действовали гипнотически на слушателей, но не потому что оратор этого хотел, а потому что они выражали собою крайнее напряжение мысли и воли. И в это время Ленин не жестикудировал. Он делал автоматически два шага вперед и два шага назад, двигался потому, что слишком велика была энергия, заряжавшая его тело, а двигался однообразно, потому что в движении этом сознание не могло принять никакого участия. Оно было целиком занято словом. И что же? Как всегда забывание своей личности у Ленина становилось источником новой силы этой личности. Не говоря уже о содержании его речей, которые всегда были победоносны своей ясностью и силой, и форма-то эта, вот эта не обыкновенная простота одевания мыслей, вот эта железная ее скованность, вот эта увлеченность самого говорящего содержанием своего обращения к аудитории,—все это превращалось в единую стихию, которая хватала слушателей и вела их.

Плеханов, если мы вернемся к содержанию его работ, сделал много в области определения основных линий политики рабочего класса России. Так же точно оставил заметный след и в области разрешения основных вопросов экономических судеб нашей страны, в том и в другом отношении похоронив народничество и давши огромный толчок движению марксистской мысли и организации рабочего движения в России.

Но все же и по объему и, пожалуй, по качеству, самые значительные работы Плеханова были не эти, а те, которые относятся к области идеологии. Здесь и наиболее тонкие стороны марксистской идеологии—философия, психология, гносеология, и социологические вопросы о сущности идеологии; причины, определяющие ее характер, роль, которую она играет в обществе—всегда привлекали внимание Плеханова с большой остротой. При этом не только общие положения, но и внимательное, чрезвычайно любовное детальное исследование увлекало Плеханова.

Все это, конечно, огромные заслуги Плеханова, все это как раз та часть его наследия, которая сейчас живет энергичнейшей жизнью. Насколько политическая практика Плеханова искажена всевозможными примесями и кончается до некоторой степени в болоте меньшевизма, так что ссылки на политическую природу Плеханова должны приниматься с величайшей осторожностью, настолько же, наоборот, работы Плеханова в области теории и истории и идеологии, в области философии марксизма остаются одним из главных сокровищ всего нашего культурного арсенала.

Но и здесь все-таки характерная разница с Лениным. Ленин также написал замечательную философскую книгу, но не потому, что его лично тянуло к разрешению философских проблем, они для него были делом служебное. Он бесконечно высоко ставил философию, потому что считал, что при неясностях в философии не может быть правильной тактики. Однако, все устремлялось для него в практику вождя, в добывание научного материала и выработку необходимых директив для живой борьбы, как она развертывалась в действительности. Плеханов был по преимуществу мыслитель, наслаждавшийся самой мыслью, как таковой, разрешением трудностей. Плеханов был влюблен в культуру. Плеханов был в значительной степени эстет в самом хорошем смысле этого слова. Именно сила мысли, именно ход развития идей, благородное желание защитить культуру, ее дальнейший рост от царского и буржуазного варварства привели Плеханова к роли политического бойца. Ленин, наоборот, был прежде всего полигическим бойцом и колоссальный арсенал



Плеханов в 1917 году.

марксизма, включавший в себе все его стороны, был привлечен им, как опора для революционной деятельности.

Но из этих ли глубоких различий и в интересах обоих вождей, сказавшихся в их произведениях, и в манере их, в облике их, вытекала и разница их тактик и разница их политической судьбы? Плеханов был человек всё-таки старой культуры. Я говорю это, конечно, с величайшим уважением. Это очень хорошо, что он был таким высоко культурным европейцем. Он сознавал при этом же, что старая культура приходит к концу и нуждается в глубоком обновлении. Он знал, что это обновление принесет пролетариат, он знал, что теорией этого обновляющегося процесса является марксизм. Он знал, что пролетариат только путем революционного переворота под знаменем марксизма может принести это обновление. Но все же, поскольку тысячи нитей, тысячи кровеносных сосудов связывали Плеханова со старой культурой,—он не мог отречься от нее, отрхнуть прах буржуазной Европы от ног своих в страшную для Европы годину объявления империалистической войны. Он оказался весь пропитанным латинской культурой. Ему казалось, что он защищает лучшие формы культуры и лучшие ее надежды, когда он становится за Париж против Берлина.

А Ленин? Ленин с величайшей легкостью, как нечто само собой разумеющееся, провозгласил полный отказ от участия в борьбе ветхого против ветхого, и сразу стал на совершенно другую дорогу. Ленин потому так легко отверг всякий патриотизм, потому что у него не было патриотизма по отношению к этой самой „культуре“.

И когда в 1917 г. пришла мировая революция, хотя бы в рамках только нашей страны, Плеханов в некоторой степени ужаснулся. Сколько он ни говорил о революции, а все-таки на деле она всегда рисовалась ему, как ряд переходных моментов: сперва буржуазная революция при сильнейшем участии в ней рабочего класса, установка чего-то вроде французской республики у нас в России с очень большой ролью социал-демократической левой в „русской палате“, потом дальнейшая борьба с буржуазией и где-то там, на горизонте одновременно или, вернее, вслед за Европой последний натиск пролетариата.

Когда рабочая революция возникла перед Плехановым во всей своей неукротимой силе, когда она сразу воспользовалась всеми слабостями позиции противника и власть перешла в руки рабочих, опирающихся на крестьянство, Плеханову серьезно показалось, что в этом есть какая-то наглость, какое-то опрокидывание всех темпов, какое-то желание еще зеленого класса разыграть из себя „взрослого мужчину“. Не по чину барство! Плеханову показалось, что это приведет только к разнузданности, только к каким-то новым пугаческим формам потрясений и сметений. И он откинулся назад почти до рядов либеральной буржуазии.

А Ленин? А Ленин был целиком в нашем рабочем классе, а Ленин был способен идти так далеко как только, возможно, и притом не изолируясь, а оглядываясь относительно союзников, в самые головокружительные смелые моменты, памятуя о сохранении возможно-

ОДНА ИЗ РУКОПИСЕЙ ПЛЕХАНОВА.

*Речь, произнесенная А. Ф. Керенским 24.10
скажет во Премии и в Совете Республики
новому на грубой размышлении.*

*Прежде всего ~~жизненный опыт~~
надо ~~знать~~ неужели не думать, что ей не
стать той искренности, которой шорно
и должно ~~требовать~~ от ~~гражданина~~, ~~выступив~~
Юуало в кризисную*

Автограф В. Плеханова.

сти для отступления, для маневров, в самой радикальной политике, ища соприкосновения с крестьянской массой.

У Ленина огромная смелость, но не безумная, смелость не авантюризма, не бакунинщины. Подлинный, расчетливый, зоркий объективный марксизм, но в то же время максимально динамичный и революционный.

Огромная вера в культуру будущего и от этого полное отсутствие этих самых болезненных в разрыве кровеносных сосудов, соединяющих личность с материнским организмом.

Когда я с ужасом говорил Ленину о разрушении некоторых зданий нашими снарядами во время московского переворота, он ответил мне: „Конечно, это досадно, но, Анатолий Васильевич, ведь война, а потом надо помнить, что победа приведет к новому миру и там мы построим такие чудеса, перед которыми ваш Василий Блаженный будет каким-то созданием троглодитов“.

Но и тут Ленин вовсе не пролеткультовец вульгарного типа, вовсе не человек, который говорит: разрушайте, мы все воссоздадим, вовсе не отрицатель этой старой культуры. Нет, он не сжигает мосты, он оставляет их ровно столько, сколько нужно, и это широкие и прочные мосты. Они находят свое прекрасное выражение в завете комсомольцам: „Вы никогда не постройте новой социалистической культуры, если не усвоите себе целиком старой культуры“.

Критическое усвоение всего того, что создано до нас, как базы всего того, что создадим мы вновь—это да, но быть в плену у прошлого, любить его настолько, чтобы в решительный час не суметь оторваться от него—это нет.

Плеханов великий человек. Плеханов провозвестник нового мира. Плеханов вслед за Марксом и Энгельсом и специально для нас, для восточной Европы, заложил основные камни нового здания, но Плеханов еще на большую половину человек старого мира. Ленин с головы до пят человек нового мира. В этом его огромная особенность, в этом его непередаваемое очарование.

Когда пришлось провести страшную борозду между старым и новым миром, Ленин оказался целиком в новом мире, а Плеханов почти целиком в старом.



Карикатура П. Лепешинского (1903 г.), изображающая Плеханова, вырывающего своих товарищей из болота оппортунизма. Плеханов тянет Мартова, змея—Дан, рак—Аксельрод, стрекоза—Троцкий, вдали стоит Ленин.

